



А. Н. ТОЛСТОЙ

День Петра

В темной и низкой комнате был слышен храп, густой, трудный, с присвистами, с клочкотанием.

Пахло табаком, винным перегаром и жарко натопленной печью.

Внезапно храпевший стал забирать ниже, хрипче и оборвал; зачмокал губами, забормотал, и начался кашель, табачный, перепойный. Откашлявшись, плюнул. И на заскрипевшей кровати сел человек.

В едва забрезжившем утреннем свете, сквозь длинное и узкое окошко с частым переплетом, можно было рассмотреть обрюзгшее, большое лицо в колпаке, пряди темных сальных волос и мятую рубаху, растянутую на груди.

Потирая потную грудь, сидящий зевнул; пошарив туфли, сунул в них ноги и обернул голову к изразцовой, далеко выдвинутой вперед, огромной печи. На лежанке ее ворочался, почесываясь во сне, солдат в сюртуке, в больших сапогах. Неспешно сидящий позвал густым-басом:

— Мишка!

И солдата точно сдуло с лежанки. Не успев еще разлепить веки, он уже стоял перед кроватью. Качнулся было, но, дернув носом, вытянулся, выпятил грудь, подобрал губы.

— Долго на рожу твою мне смотреть, сукин сын, — тем же неспешным баском проговорил сидящий. Мишка сделал полный оборот и, выбрасывая по-фронтовому ноги, вышел. И сейчас же за дверь, сквозь которую проник на минуту желтый свет свечей, зашептались несколько голосов.

Сидящий натянул штаны, шерстяные, пахнущие потом чулки, кряхтя поднялся, застегнул на животе вязаный жилет красной шерсти, вздел в рукава байковую коричневую куртку, швырнул колпак на постель, пригладил пальцами темные волосы и подошел к двери, ступая косолапо и тяжело.

В комнате соседней, более высокой и просторной, с дубовыми балками на потолке, с обшитыми свежим дубом стенами, с небольшим и тяжелым столом, заваленным бумагами, свитками карт, инструментами, отливками железа, чугуна, меди, засыпанным табаком и прожженным, с глобусом и подозрительной трубой в углах, с книгами, переплетенными в телячью кожу и валяющимися повсюду, — на подоконнике, стульях и полу, — в рабочем этом кабинете царя Петра, где ярко пылала изразцовая печь, стояло семь человек. Одни в военных зеленых сюртуках, жмущих под мышками, другие — в бархатных камзолах. И сюртуки и камзолы, неряшливые, залитые вином, топорщились, сидели мешками. Огромные парики были всклокочены, надеты, как шапки, — криво, из-под черных буклей торчали собственные волосы — рыжеватые, русые, славянские. В свете сырого утра и наплывших светил лица придворных казались зеленоватыми, обрюзгшими, с резкими морщинами — следами бессонных ночей и водки.

Дверь распахнулась, вошел Петр, и перед ним склонилось низко семь париков. Кивнув, он сел у стола, резко сдвинул в сторону бумаги, опростав для руки место, забарабанил пальцами, и на присутствующих уставились круглые его черные глаза, словно горевшие безумием.

Такова была его манера смотреть. Взгляд впитывал, постигал, проникал пронзительно, мог быть насмешливым, издевательским, гневным. Упаси бог стоять перед разгневанным его взором! Говорят, курфюрстина Евгения опрокинулась в обморок, когда Петр, громко, всем на смущение; чавкая в Берлине за ужином гусиный фарш, глянул внезапно и быстро ей в зрачки. Но еще никто никогда не видел взора его спокойным и тихим, отражающим дно души. И народ, хорошо помнивший в Москве его глаза, говорил, что Петр — антихрист, не человек.

Васька-денщик, дворянский сын Сукин, принес на подносе водки, огурцов и хлеб. Петр принял заскоруждыми пальцами стакан, медленно выпил водку, вытер губы ладонью и стал грызть огурец.

Это был его завтрак. Морщины на лбу разошлись, и рот, красивый, но обезображенный постоянным усилием сдерживать гримасу, усмехнулся. Петр сильно втянул воздух через ноздри и стал набивать канупер в почерневшую трубочку. Денщик подал фитиль. Захрипев чубуком, Петр сказал:

— Поди разбуди, выпусти, — и подал ключ от шкафов, куда запирались на ночь остальные три денщика. Шкафы эти устроены были недавно, после того как обнаружилось, что, несмотря на угрозы и битье, денщики удирают через слуховое окошко к «девушкам сверху» — фрейлинам.

Затем царь прищурился, сморщился и с гримасой проговорил:

— Светлейший князь Меншиков, чай, со вчерашнего дебоширства да поминания Ивашки Хмельницкого головой гораздо оглупел. Поди, поди. Послушаем, как ты врешь с перепоею.

Потянув со стола листы с цифрами, он выпустил густой клуб дыма в длинное, перекошенное страхом лицо светлейшего. Но улыбка обманула. Крупный пот выступил на высоком, побагровевшем от гнева лбу Петра. Присутствующие опустили глаза. Не дышали. Господи, пронеси!

— Селитры на сорок рублей, шесть алтын и две деньги. Где селитра? — спрашивал Петр. — Овес, по алтыну четыре деньги, двенадцать тысяч мер. Где овес? Деньги здесь, а овес где?

— Во Пскове, на боярском подворье, в кулях по сей день, — пробормотал светлейший.

— Врешь!

Храни Никола кого-нибудь шевельнуться! Голову Петра пригнуло к плечу. Рот, щеку, даже глаз перекосило. Князь неосмотрительно, охраняя холеное свое лицо, норовил повернуться спиной, хоть плечиком, но не успел: сорвавшись со стола, огромный царский кулак ударил ему в рот, разбил губы, и из сладких глаз светлейшего брызнувшие слезы смешались с кровью. Он дрожал, не вытираясь. И у всех отлегло от сердца. Толстой завертел даже табакерку в костлявых пальцах. Шаховской издал некий звук губами. Грозу пронесло пустяком.

Так началось утро, обычный, буднийший питербурхский денек.

А дела было много. Покончить с воровскими счетами князя Меншикова; написать в Москву его величеству князю-кесарю Ромодановскому, чтобы гнал из Орла, Тулы и Галича в Питербурх плотников и дроворубов, «понеже прибывшие в феврале людишки все перемерли, и гнать паче всего молодых, чтобы на живот и ноги не ссылались, не мерли напрасно»; да написать в Лодийное Поле, «что на недели сам буду на верфи»; да написать в Варшаву Долгорукому, да в Ревель купцу Якову Дилю, чтобы прислал полпива доброго дюжины три, да чесноку связку, да шпику. Окончив занятия, письма, приказы, регламент — ехать надо на новую верфь, где строится двухпалубный линейный корабль; побывать на пушечном заводе и на канатном; завернуть по пути к сапожнику Матеусу, окрестить дочь, выпить чарку перцовой, закусив пирогом с морковью, сунуть под подушку роженице-куме рубль серебром; избить до смерти дьяка-вора на соляной заставе; походить по постройкам на набережных и на острове; в двенадцать часов — обед, и сон — до трех; отдохнув, ехать в Тайную канцелярию, где Толстой, Петр Андреевич, Ушаков да Писарев допытывают с пристрастием слово

и дело государево. А вечером — ассамблея по царскому приказу. «Быть всем, скакать под музыку вольно, пить и курить табак, а буди кто не явится — царский гнев лютый».

Дела было много.

Сырой ветер гнал сильный туман с моря; шумел поредевший ельник на Васильевских болотах; гнулись высокие сосны, кое-где еще торчавшие по городу; сдувало гнилую солому с изб и клетей, завывало в холодных печных трубах, хлопало дверями: много в то время пустолю домов, потому что народ мер до последней степени от язвы, туманов и голода. Лихое, невеселое было житье в Питербурхе.

Вздущаяся река была в бревенчатые набережные; качались, трещали крутобокие барки; снег и косой дождь наплюхивал целые озера на площадях и улицах, где для проезда брошены были поперек бревна, доски, чурбаны.

На черном пожарище выгоревшего в прошлый четверг гостиного двора, что на Троицкой площади, торчали четыре виселицы, и ветер раскачивал в тумане четырех воров, повешенных здесь на боязнь и великое страхование впредь. По берегам реки, вдоль Невской Перспективы, уже обсаженной с обеих сторон чахлыми деревцами, стучали топоры, тянулись тачки с песком, тележки с известью, булыжником, кирпичами. В грязи, в желтом тумане, на забиваемых в болотный ил сваях возникали каждый день все новые амбары, длинные бараки, гошпитали, частные дома переселяемых бояр. Понемногу все меньше становилось мазаных, из ивняка и глины, избенок, где еще недавно жили Головин, Остерман, Шафиров. Только проворный светлейший уже давно успел выкатить себе деревянные палаты с башней, как у кирпичи, и присматривал местечко для каменного дворца.

Многие тысячи народа, со всех концов России — все языки, — трудились день и ночь над постройкой города. Наводнения смывали работу, опустошал ее пожар; голод и язва косили народ, и снова тянулись по топким дорогам, по лесным тропам партии каменщиков, дроворубов, бочкарей, кожемяк. Иных ковали в железо, чтобы не разбежались, иных засекали насмерть у верстовых столбов, у тиунской избы; пощады не знали конвоиры-драгуны, бритые, как коты, в заморских зеленых кафтанах.

Строился царский город на краю земли, в болотах, у самой неметчины. Кому он был нужен, для какой муки еще новой надо было обливаться потом и кровью и гибнуть тысячами, — народ не знал. Но от податей, оброков, дорожных и войсковых повинностей стоном стонала земля. А если кто и заикался от накипевшего сердца: «Ныне-де спрашивают с крестьян наших подводы, и так мы от подвод, от поборов и от податей разорились, а ныне

еще и сухарей спрашивают; государь свою землю разорил и вы-
пустошил; только моим сухарем он, государь, подавится», — тех
неосторожных, заковав руки и ноги в железо, везли в Тайную
канцелярию или в Преображенский Приказ, и счастье было, ко-
му просто рубили голову: иных терзали зубьями, или протыкали
колом железным насквозь, или коптили живьем. Страшные казни
грозили всякому, кто хоть тайно, хоть наедине или во хмелю за-
думался бы: к добру ли ведет нас царь, и не напрасны ли все эти
муки, не приведут ли они к мукам злейшим на многие сотни лет?

Но думать, даже чувствовать что-либо, кроме покорности, было
воспрещено. Так царь Петр, сидя на пустошах и болотах, одной
своей страшной волей укреплял государство, перестраивал землю.
Епископ или боярин, тяглый человек, школяр или родства непом-
нящий бродяга слова не мог сказать против этой воли: услышит
чье-нибудь вострое ухо, добежит до приказной избы и крикнет
за собой: «слово и дело». Повсюду сновали комиссары, фискалы,
доносчики; летели с грохотом по дорогам телеги с колодниками;
робостью и ужасом охвачено было все государство.

Пустели города и села; разбегался народ на Дон, на Волгу,
в Брянские, Муромские, Пермские леса. Кого перехватывали
драгуны, кого воры забивали дубинами на дорогах, кого резали
волки, драли медведи. Порастали бурьяном поля, дичало, пустело
крестьянство, грабили воеводы и комиссары.

Что была Россия ему, царю, хозяину, загоревшемуся досадой
и ревностью: как это — двор его и скот, батраки и все хозяйство
хуже, глупее соседского? С перекошенным от гнева и нетерпения
лицом прискакал хозяин из Голландии в Москву, в старый, лени-
вый, православный город, с колокольным тихим звоном, с повалив-
шимися заборами, с калинами и девками у ворот, с китайскими,
индийскими, персидскими купцами у кремлевской стены, с ко-
ровами и драными попами на площадях, с премудрыми боярами,
со стрельцовой вольницей.

Налетел с досадой, — ишь угодье какое досталось в удел, не то,
что у курфюрста бранденбургского, у голландского штатгальтера.
Сейчас же, в этот же день, все перевернуть, перекроить, обстричь
бороды, надеть всем голландский кафтан, поумнеть, думать на-
чать по-иному.

И при малом сопротивлении — лишь заикнулись только, что,
мол, не голландские мы, а русские, избыли, мол, и хозарское
иго, и половецкое, и татарское, не раз кровью и боками своими
восстановляли родную землю, не можем голландцами быть,
смилуйся, — куда тут! Разъярилась царская душа на такую не-
пробудность, и полетели стрелецкие головы.

Днем и ночью при свете горящего смолья, на брошенных в грязь бревнах, рубили головы. Сам светлейший, тогда еще Алексашка, лихо, не кладя наземь человека, с налету саблей смахивал голову, хвалился. Пили много в те дни крепкой водки, дочерна настоенной на султанском перце. Сам царь слез с коня у Лубянских ворот, отпихнул палача, за волосы пригнул к бревну стрелецкого сотника и с такой силой ударил его по шее, что топор, зазвенев, до половины ушел в дерево. Выругался царь матерно, вскочил на коня, поскакал в Кремль.

Спать не могли в те ночи. Пили, курили голландские трубки. Помещику одному, Лаптеву, засунули концом внутрь свечу, положили его на стол, зажгли свечу, смеялись гораздо много.

В нагольном полшубке, в оленьем, надвинутом на уши колпаке, обмотав горло вязаным шарфом, Петр взлез на двухколесную таратайку, взял вожжи и, затеснив локтем рябого солдата, жавшегося сбочку, выехал со двора.

Смирный карий мерин, привыкший к любой непогоде, не спеша зачмокал копытами; скоро ехать было нельзя: таратайку сильно подбрасывало на бревенчатой, уже разьеженной мостовой, валило в рытвины, полные грязи.

Сильный ветер дул в лицо, гоня нескончаемые, разорванные в клочья облака. Солнце висело низко и то заслонялось серыми пеленами, то выплывало из них, багровое, не светлое, северное, и клубился, клубился повсюду, на земле и меж облаками, желтоватый, промозглый туман.

Вот так погода! Хороша погода! Морская, крепкая, сквозняк! С удовольствием, раздувая ноздри, вдыхал Петр соленый, сырой ветер, гнавший где-то по морю торговые, полные товаров суда, многопушечные корабли, выдувавший изо всех закоулков залежалый дух российский.

И пусть топор царя прорубал окно в самых костях и мясе народном, пусть гибли в великом сквозняке смирные мужики, не знавшие даже — зачем и кому нужна их жизнь; пусть треснула сверху донизу вся непробудность, — окно все же было прорублено, и свежий ветер ворвался в ветхие терема, согнал с теплых печурок заспанных обывателей, и закопошились, поползли к раздвинутым границам русские люди — делать общее, государственное дело.

Но все же случилось не то, чего хотел гордый Петр; Россия не вошла, нарядная и сильная, на пир великих держав. А подтянутая им за волосы, окровавленная и обезумевшая от ужаса и отчаяния, предстала новым родственникам в жалком и неравном виде — рабю. И сколько бы ни гремели грозно русские пушки, повелось,

что рабской и униженной была перед всем миром великая страна, раскинувшаяся от Вислы до Китайской стены.

Через Троицкую площадь шли семеновцы с медными киками на головах, в промокших кафтанах. Солдаты лихо месили по грязи и разом взяли на караул, выкатывая глаза в сторону государя. Чиновники, спешившие по своим делам, пробираясь по настланным вдоль лавок и домишек мосткам, низко снимали шляпы, и ветер трепал букли их париков. Простой народ, в зипунах и овчинах, иные совсем босые, валились на колени прямо в лужи, хотя и был приказ: «Ниц перед государем, идя по его государевой надобности, не падать, а снять шляпу, и, стоя, где остановился, быть в пристойном виде, покуда он, государь, пройти не изволит».

Один только толстый булочник, ганноверец, в полосатых штанах, в чистом фартуке, стоя у дверцы булочной, где на ставнях были нарисованы какие-то смешные носатые старички, весело усмехнулся и крикнул, махнув трубкой:

— Гут морген, герр Питер!

И Петр, повернув к нему багровое, круглое лицо, ответил хрипло:

— Гут морген, герр Мюллер!

На набережной, между бунтами досок, бревен и бочек с известью, толпились рабочие. Туда же бежал в больших сапогах, с лотком пирожков, мальчишка, покрытый рогожей. А с того берега на веслах и парусе подходил полицейский баркас, кренился, зарывался в волны носом, и на носу его ругательски ругался обер-полицеймейстер. Все это обличало явный неурядок.

А неурядок был вот в чем: посредине народа, в страхе великом обступившего бочку с известью, на бочке стоял тощий, сутулый человек без шапки. Волосы, спутанные, как войлок, падали косицами на плечи; горбоносое, изможденное лицо было темно и в глубоких морщинах; глаза провалились и горели люто; узкая борода металась по голой груди; ребра, обтянутые, собачьи, сквозили через дыры подпоясанного лыком армяка. Вытягивая руку в древнем двуперстном знаменнии, он кричал пронзительно дурным голосом:

— Православные, ныне привезли знаки на трех кораблях. А те знаки — чем людей клеймить, и сам государь по ним ездил, и привезены на Котлин остров, но токмо никому не кажут и за крепким караулом содержат, и солдаты стоят при них бесменно...

— Верно... верно... — зароптала толпа. — Сами слышали... Клейма привезены... Вот такой же кричал наемни.

Сзади два усатых сержанта уже принялись расталкивать, гнать народ. Иные отошли, другие теснее, как овцы, сдвинулись

к бочонку... Рванный же человек растопырил руку и, суя в нее пальцем, кричал:

— Вот здесь, между большим и средним пальцем, царь будет пятнать, и станут в него веровать. Слушайте, христиане, слушайте... В Москве мясо всех уж заставили есть в сырную неделю и в великий пост. И на Соловки послали трех дьяков, чтобы монахов учить мясо есть. И весь народ мужеска и женска пола будет государь печатать, а у помещиков и у крестьян всякий хлеб описывать, и каждому будут давать самое малое число, а из остального отписного хлеба будут давать только тем людям, которые запечатаны, а на которых печатей нет, тем хлеба давать не станут. Бойтесь этих печатей, православные. Бегите, скрывайтесь. Последнее время настало... Антихрист пришел. Антихрист...

Крестясь и оплевываясь, пятились мужики. Иные побежали. Закликали бабы... Смяли мальчишку в рогоже, опрокинули с пирожками лоток. Человек двадцать солдат лупили палками по головам и спинам. Рванный слез с бочки и пошел, наклонив голову. Перед ним расступились, и он скрылся за бунтами леса.

Когда Петр, широко шагая через лужи, подошел к месту происшествия, солдаты уже разогнали рабочих, и только обер-полицеймейстер Ивашин таскал за волосы вятского, какого-то хилого мужичка, последнего, кто подвернулся под руку. Вятский, растопырив руки и согнувшись, покорно вертел головой по всем направлениям, куда таскало его начальство; Ивашин же с ужасом косился на подходившего царя: дело было нешуточное — бунт и его, полицеймейстера, недоглядка.

«Пропал, пропал, пришибет на месте», — торопливо думал он, крутя за виски покорную голову.

— Что? Кто? Почему? — отрывисто, дергая щекой, спросил Петр, и сам, схватив сзади за полусубок вятского мужика, приблизил его тощее, с провалившимися щеками, смиренно-готовое к неминуемой смерти лицо к безумным своим глазам. Приблизил, впился и проник, точно выпил всю его нехитрую мужицкую правду.

«Господи Иисусе», — посиневшими губами пролепетал вятский. Но Петр уже отшвырнул его и обратился к Ивашину:

— Причину нарушения работ, господин обер-полицеймейстер, извольте рапортовать.

Бритое, рябое лицо Ивашина подернулось серым налетом. Вытянувшись до последней жилы, он отрапортовал:

— Пирожник пироги принес, народишко начал хватать безобразно, началась драка и безобразие, пирожника едва не задавили, пироги все потоптали.

Соврал, соврал Ивашин, и сам потом много дивился, как он так ловко вывернулся из скверной истории, — гораздо хорошо соврал, глядя честно и прямо в царские глаза. Петр спросил спокойнее:

— С чем пироги?

— С грибами, ваше величество.

Придерживая шпагу, Ивашин живо присел и, подняв из грязи, подал царю пирожок. Петр разломил, понюхал и бросил.

— А этот, ваше величество, — Ивашин сапогом пихнул вятского мужика в ноги, — всем им, ворам, зачинщик, крикун и вор.

— Батогов! — Петр повернулся и зашагал косолапой, но стремительной поступью вдоль набережной к работам. Ивашин рысью, придерживая треугольную шляпу и шпагу, попевал за ним.

Вдоль топкого берега, куда били, распользаясь, черно-ледяные волны, копошились до трехсот человеческих фигур: орловцы и туляки в войлочных гречушниках, киргизы в остроконечных, как кибитки, шапках, с меховыми ушами, одетые в оленьи кофты поморы, сибиряки в собачьих шубах и иной бродячий люд, кто обмотанный тряпками, кто просто прикрытый рогожей.

— Оглядывайся... Оглядывайся... Оглядывайся... — пошли негромкие голоса по всему берегу. Не жалея ни рук, ни спин, подгоняемые десятскими и еще более зорким взглядом царя, все эти изнуренные, цинготные, покрытые лишаями и сыпью строители великого города «бодро и весело», как сказано в регламенте работ, били в сваи, рысью тащили бревна, с грохотом сбрасывали их, пилили, накатывали; человек пятьдесят, стоя по пояс в воде, обтесывали торцы. Едко пахло мокрым деревом, дегтем и дымом от обжигаемых свай.

Все эти люди были, как духи земли, вызваны из небытия, чтобы, не ропща и не уставая, строить стены, укрепления, дворцы, овладевать разливом рек, ловить ветер в паруса, бороться с огнем.

Одного слова, движения бровей было достаточно, чтобы поднять на сажень берег Невы, оковать его гранитом, ввинтить бронзовые кольца, воздвигнуть вон там, поправее трех ошипанных елей, огромное здание с каналами, арками, пушками у ворот и высоким шпилем, на золоте которого загорится северное солнце.

Грызая ноготь, Петр исподлобья посматривал на то место, где назначалось быть адмиралтейству. Там, на низком берегу, стояли длинные бараки с дегтем, пенькой, чугунными отливками; кругом строились леса, тянулись тележки по гребням выкидываемой из каналов зеленоватой земли, и сколько еще нужно было гнева и нетерпения, чтобы поднялся из болот и тумана дивный город!

А тут еще пирожки какие-то мешают.

В конце стройки Петр свернул на мостки, сквозь доски которых под его шагами зачмокала вода. Здесь он вынул часы, отколупнул черным ногтем крышку — было ровно половина одиннадцатого — и шагнул в качавшийся и скрипевший о сваи одномачтовый бот.

Скуластый матрос, в короткой стеганой куртке и в падающих из-под нее складками широких коричневых штанах, весело взглянул на Петра Алексеевича, сунул в карман фарфоровую трубочку и, живо перебирая руками, поднял парус. Тотчас лодка, бессильно до этого качавшаяся, точно напрягла мускулы, накренилась, мачта, заскрипев, согнулась под крепким ветром. Петр снял руку с поручни мостков, положил руль, и лодка скользнула, взлетела на гребень и пошла через Неву.

Петр проговорил сквозь зубы:

— Ветерок, Степан, а?

Осклабясь, матрос прищурился на ветер, сплюнул.

— Был норд на рассвете, ободняло, — ишь на норд-вест повернул.

— Врешь, норд-вест-вест.

На это Степан усмехнулся, качнул головой, но не ответил: хотя с Петром Алексеевичем были они и давнишними приятелями-мореходами, все-таки много спорить с ним не приходилось.

У строящегося адмиралтейства, где была уже вытянута сажен на полтораста высокая, из крепких бревен, пахнувшая смолой набережная, Петр выскочил из лодки и, все так же спеша и на ходу махая руками, пошел к пеньковым складам.

Матросы, чиновники, рабочие и солдаты издали слышали косопалые и тяжелые шаги царя и, заслышав, низко нагнулись над бумагами и книгами, засуетились каждый по своему делу.

Неяркое, как пузырь, солнце повисело полдня за еловой пусторослью и закатилось. Темно-красный свет разлился на все небо; как уголья, пылали края свинцовых туч, заваливших закат на тысячу верст; в вышину поднялись оттуда клубы черно-красного тумана; багровая, мрачная, текла Нева; лужи на площади, колеи, слюдяные окошки домиков и стволы сосен — все отдавало этим пыланием; и не яркими, бледными казались сыплющие искрами большие костры, разложенные на местах работ.

Но вот яркой иголкой блеснула пушка на крепостном валу, ударил и далеко покотился выстрел, затрещали барабаны, и длинные партии рабочих потянулись к баракам.

У бревенчатых длинных и низких строений с высокими крышами дымились котлы, охраняемые солдатами; в подходившей толпе, несмотря на строгий приказ, вертелись сбитенщики с крепким сбитнем, воры, офени и лихие люди, предлагавшие поиграть

в зернь, в кости, покурить табачку; гнусили калеки и бродяжки; толкся всякий людишко, норовивший пограбить, поживиться, погреться. Давали, конечно, по шеям, да всем не надаешь — пропускали.

Во втором Васильевском бараке, так же как и повсюду, усталые и продрогшие рабочие обступили котел, просовывая каждый свою чашку усатому унтеру, говорившему поминутно:

— Легче, ребята, осаживай!

Получивший порцию брел в барак, садился на нары и ел, по-малкивая: пищу-де хаить нельзя — государева. Хлеб покупали на свои деньги, говорили, что в царский подмешивают конский навоз.

С двух концов горящие над парашами лучины едва освещали нары, тянущиеся в три яруса, щелястые, нетесанные стены и множество грязного тряпья, развешанного под потолком на мочальных веревках. Набив брюхо, кряхтя и крестясь, полз народ на нары, наваливал на себя тулупы, рогожи, тряпье и засыпал до утреннего барабана. У дверей всю ночь шагал солдат в кивере, с перевязью, с большой алебардой, покашливал для страха и время от времени вставлял новую лучину. Строго было заказано — не баловать, а пуще всего зря языком не трепать.

Но без греха не проживешь, и солдату можно дать копейку, чтобы не слушал, чего не надо, и в барак пробирался лихой человек — Монтатон, не русский, залезал под самую крышу и там, разложив на платке все свое хозяйство: склянку с вином, зернь, табак и кости, начинал скрести ногтем — скрр, скрр, здесь, мол, ожидаемся.

Каждую ночь сползались к нему Семен Заяц, да Митрофан тоже Заяц, да Семен Куцый, да Антон из Черкас, шепотом вели беседу, кидали кости, звенели копейками и осторожно, чтобы не было великого шума, заезжали в ухо Монтатону за плутовство. Проводили время.

Да и не все ли было равно — ну, застанут и засекут: на царевой работе никто еще больше трех лет не вытягивал.

Так было и сегодня. Собралась кумпания, запалили огарочек сальный, достали зернь, начали резаться. Солдат шагал у лучины, зевал от скуки. Вдруг слышит, где-то внизу на нарах шепчут:

— Отец Варлаам, а как же он нас печатать станет?

— Промеж среднего и большого пальца, тебе говорят, дура.

— Отец Варлаам, верно это?

— Верно, — отвечал давешний вопленный голос, — клейма те железные, раскалят и приложат, и на них крест, только не наш, не христианский.

— Господи, что же делать-то? А если я не дамся?

— А прежде зельем будут опаивать, табаком окуривать, для прелести скакать в машкерах круг тебя, и на бочках ездить, и баб без одежды будут казать.

— Верно, верно, ребята, на прошлую масленицу сам видел, — на бочках ездили и бабы скакали.

— А что же я вам говорю!

Солдат, видя, что не Монтатонова это кумпания подает голос и разговор идет самый воровской, подошел, опустил алебарду и сказал, заглянув под темные нары:

— Эй, кто там бормочет, черти? Не спите! Голоса затихли сразу: кто-то ноги босые поджал.

Солдат постоял, нюхнул табачку и сказал еще:

— Сволочи, спать другим не даете. Разве не знаете государя нашего приказ строгий: в рабочих помещениях не разговаривать, только для ради пищу попросить, али иглу, али соли. Ныне строго.

И только он приноровился запустить вторую понюшку под усы в обе ноздри, как вопленный голос закричал на все темное помещение:

— Врешь! Государя нашего у немцев подменили, а этот не государь, давеча сам видел, — у него лица нет, а лицо у него не человеческое, и он голову дергает и глазами вертит, и его земля не держит, гнется. Беда, беда всей земле русской! Обманули нас, православные!..

Но тут солдат, бросив рожок с табаком и алебарду, закричал «караул!» — и побежал к выходу, расталкивая лезущий вниз с нар перепуганный народ. Зашумели голоса. Взвизгнула баба где-то под рогожей; другая, выскочив к лучине, забилась, заквакала. «Бейте его!» — кричали одни. «Да кого бить-то?», «Давют, батюшки!» Монтатон, побросав свой инструмент, ужом лез к выходу; поймали его, вырвали полголовы волос.

И ввалился, наконец, караул, с факелами и оружием наголо. Все стихло. Рослый, крепколицый офицер, оглядывая мужиков со всклокоченными волосами, с разинутыми ртами, двинул треугольную шляпу на лоб и, полуобернувшись к команде, приказал четко и резко:

— Арестовать всех. В Тайную канцелярию.

Тайная канцелярия занимала довольно большую площадь, огороженную высоким частоколом. Главный корпус построен из кирпича, а все пристройки — тюрьмы, клетки, казематы — бревенчатые, и все время пристраивались, так как не хватало места для привозимых отовсюду государственных преступников.

В главном корпусе, низком, красном здании, крытом черепицей, с толстыми стенами и небольшими, высоко от земли, решетчатыми окошками, помещались: прямо — низкая комната с дубовыми, вдоль стен, лавками для ожидающихся под карау-

лом, направо — комната дьяков, налево — кабинет начальника Тайной канцелярии, и оттуда кованная железом дверь вела в застенок, сводчатое помещение с коридорами и камерами. Сзади во дворике валялись — разный инструмент, нужный и ненужный: рогожи, связки прутьев, ржавые кандалы, кожи, гробы; и стояли «спицы» — самое страшное орудие пытки, редко применяемое.

Все комнаты были оштукатуренные и уже грязные от пятен сырости, прикосновения рук и спин. Везде каменный, захоженный грязью пол, крепкие дубовые столы и лавки.

Место было суровое, только в кабинете начальника день и ночь пылал камин, потому что Толстой былзябок и часто, чиня допрос, придвигал стул к огню и закрывал глаза, слушая, как путается обвиняемый да дьяк скрипит гусиным пером.

В восемь часов бухнула наружная дверь, и в комнату, где у стен сидели вперемежку колодники и солдаты, вошел Петр; прищурился на то место, где в густых испарениях плавал свет сального огарка, неясно освещая лысину нагнувшегося над бумагой дьяка и бледные лица вскочивших в испуге колодников, приложил пальцы к ноздрям, шумно высморкался, вытер нос полою мокрого полушубка и, нагнувшись, шагнул в кабинет председателя.

— Ну, ну, сиди, — проворчал царь в сторону Толстого и, сев перед камином, протянул к огню красные, в жилах, руки и огромные подошвы сапог. — Паршивый народ, не умеет простой штуки — стропила связать, дурачье, — продолжал он, явно желая похвастаться. — Шафиров инженера выписал из Риги, хвостун и глупец к тому же. Я на крышу влез и показал ему, как вяжут стропила. Запищал инженерик: «Дас ист унмеглих, герр гот». А я сгрёб его под париком за виски: это, говорю, меглих, это тебе меглих?..

Ухмыляясь, он вынул короткую изгрызенную трубочку, пальцами схватил уголек из очага, покидал его на ладони и сунул в трубку. Толстой сказал:

— Ваше величество, дело пономаря Гульяева, что в прошедшем месяце у Троицы на колокольне кикимору видел и говорил: «Питербурху быть пусту», разобрано, свидетели все допрошены, остается вашему величеству резолюцию положить.

— Знаю, помню, — ответил Петр, пуская клуб дыма. — Гульяева, глупых чтобы слов не болтал, бить кнутом и на каторгу на год.

— Слушаю, — нагнувшись над бумагами, проговорил Толстой. — А свидетели?

— Свидетели? — Петр широко зевнул, согрившись у огня. — Выдай им пачпорта, отошли по жительству под расписку.

В это время стукнули в дверь. Толстой строго посмотрел через очки и сказал, поджав губы:

— Войди.

Появился давешний крепколицый офицер; выкатив грудь, держа руку у шпаги, другую у мокрой треуголки, отрапортовал, что по государеву слову и делу арестовано им девяносто восемь человек мужска и женска пола, приведено за частокол, прошуде дальнейших распоряжений.

Толстой, прищурясь, пожевал ртом: большой лоб его, с необыкновенными бровями — черными и косматыми, покрылся морщинами.

— На кого же ты слово государево говоришь? На кого именное? — спросил он. — На всех девяносто восемь человек говоришь, так ли я понимаю?

Рука офицера задрожала у шляпы, он молчал, стоя статуей. Царь, вытянув ноги, глядел круглыми глазами в огонь, время от времени туда сплевывая. На цыпочках вошел приказный дьяк, поклонился царскому креслу и сейчас же, присев у своего столика, записал, водя кривым носом над бумагой. Толстой, выйдя на середину комнаты, с наслаждением нюхнул из золотой табакерки, склонил к плечу хитрое, ленивое лицо, оглядывая оторопелого офицера, и сказал в нос:

— Большое дело ты затеял: девяносто восемь человек обвиняешь, а со свидетелями и вся тысяча наберется. Добрый полк. Сколько же я кож бычьих на кнуты изведу? Сколько бумаги исписать придется? И, боже мой, вот задал работу! Чего же ты молчишь, друг мой, али испужался?

И при этом с улыбкой покосился на царя и захихикал, отряхивая тонкими пальцами с кафтана табак. Офицер срывающимся, взволнованным голосом пробормотал:

— Ваше превосходительство, в бараке втором, васильевском, поносные слова на государя говорены, и говорил их вор и бродяга Варлаам с товарищи...

И, не кончив, офицер дрогнул и попятился: с такою силой отшвырнул Петр тяжелое кресло от огня и, поднявшись во весь рост, засопел, багровый и искаженный, сыпля горящий пепел из трубки:

— Ну, води его сюда...

Изменился в лице и Толстой, точно весь высох в минуту, заговорил торопливо:

— Веди его, води одного пока, да не сюда, а прямо в застенок. Товарищей препроводить в казарму, держать под караулом крепко... Головой отвечаешь! — пронзительно крикнул он, подскакивая к офицеру, который, сделав полный оборот, быстро вышел.

Петр расстегнул медный крючок полушубка на шее и сказал, криво усмехаясь:

— Говорил я вам, ваше превосходительство, — Варлаам в Питербурхе. Вы не верили.

— Ваше величество...

— Молчи! Дурак! Смотри, Толстой, как бы и твоя голова не слетела.

Петр с силой толкнул железную дверь и, нагибаясь, пошел по узкому проходу в правешнюю. Толстой же постоял минуту в неподвижности, затем, поднеся холодную, сухонькую ладонь ко лбу, потер его и, уже торопливо захватив под мышку бумаги и семена, вышел вслед за государем.

Так началось огромное и страшное дело о проповеднике антихриста, занявшее много месяцев. И много людей сложило головы на нем, и молва об этом деле далеко прокатилась по России.

Варлаам уже сорок минут висел на дыбе. Вывернутые в лопатках, связанные над головою руки его были подтянуты к перекладине ремнем; голова опущена, спутанные пряди волос закрывали все лицо, мешались с длинной бородой; обнаженное, с выдающимися ребрами, вытянутое и грязное тело его было в пятнах копоти, и сбоку стекал сгусток крови: Варлааму только что дали тридцать пять ударов кнутом, а спереди попалили вениками. Грязные ноги его, с поджатыми судорожно пальцами, были охвачены хомутом и привязаны к бревну, на котором, вытягивая все его тело, стоял дюжий мужик в коротком тулупчике — палач.

Напротив, у стола, при двух свечах, озаряющих кирпичные своды, сидели: Петр, развалясь и закинув голову, с надутой жилами шей, посредине — Толстой и направо от него — огромный, похожий красным лицом на льва, угрюмый человек — Ушаков; он был без парика, в этисьей шапке и бархатной, с косматым воротником, шубе.

— Не снять ли его, кабы не кончился? — проговорил Толстой, просматривая только что записанное показание. Ушаков, глядя неподвижно на висящего и свистя заложенным от табаку и простуды горлом, сказал:

— Дать водки, очухается.

Толстой поднял глаза на царя. Петр кивнул. Палач шепотом сказал в темноту за столбы:

— Вась, Вась, поправее, в уголышке там склянка. Из темноты вышел круглолицый, с женственным ртом, кудрявый парень, бережно неся четырехгранную склянку с водкой. Вдвоем они запрокинули голову висящему, покопошились и отошли. Варлаам застал на негромко, почмокал, затем закрутил головой... И на Петра опять, как и давеча, оставились черные глаза его, блестящие сквозь пряди волос. Толстой вслух стал читать запись дознания. Вдруг Варлаам проговорил слабым, но ясным голосом:

— Бейте и мучайте меня, за господа нашего Иисуса Христа готов отвечать перед мучителями...

— Ну, ну, — цыкнул было Ушаков, но Петр схватил его за руку и перегнулся на столе, вслушиваясь.

— Отвечаю за весь народ православный. Царь, и лютей тебя цари были, не боюсь лютоści! — с передышками, как читая трудную книгу, продолжал Варлаам. — Тело мое возьмешь, а я уйду от тебя, царь. На лапах на четырех заставишь ходить, в рот мне удила вложишь, и язык мой отнимешь, и землю мою не моей землей назовешь, а я уйду от тебя. Высоко седишь, и корона твоя как солнце, и не прельстишь. Я знаю тебя. Век твой недолгий. Корону твою сорву, и вся прелесть твоя объявится дымом смрадным.

Петр проговорил, разлепив губы:

— Товарищей, товарищей назови.

— Нет у меня товарищей, ни подсобников, токмо вся Расея товарищи мои.

Страшно перекосило рот у царя, запрыгала щека, и голову пригнуло; с шумным дыханием, стиснув зубы, он сдерживал и поборол судорогу. Ушаков и Толстой не шевелились в креслах. Палач всей силой навалился на бревно, и Варлаам закинул голову. Слышно было, как трещали свечи. Петр поднялся наконец, подошел к висящему и долго стоял перед ним, точно в раздумье.

— Варлаам! — проговорил он, и все вздрогнули. Парень с женским ртом, вытянув шею, глядел из-за столба нежными голубыми глазами на царя.

— Варлаам! — повторил Петр.

Висящий не шевелился. Царь положил ладонь ему на грудь у сердца.

— Снять, — сказал он, — вернуть руки. На завтра приготовить спицы.

У светлейшего в только что отделанной приемной зале, с еще волглыми стенами, высокими, невиданными окнами, при свете двухсот свечей, танцевали gros-фатер. Четыре музыканта — скрипка, флейта, фанфары и контрбас — дудели и пилили, обливаясь потом.

Боярыни и боярышни, хотя и в немецких, но по-русскому тяжелых — до пуда весом — платьях, без украшений, — драгоценности в то время были запрещены, — но нарумяненные, как яблоки, и с густо насурмленными в одну линию черными бровями, неловко держась за своих кавалеров, скакали и высоко подпрыгивали по воценому полу, в общем кругу танцующих.

Посредине круга стоял герой мод и кутежей — Франц Лефорт, дебошан французский. Бритое, тонкое лицо его с пьяными глазами

было обрамлено огромным рыжим париком; букли его доходили почти до пояса. Золотой кафтан горой поднимался на бедрах. Помахивая рукой, с падающими из-за обшлага кружевами, он напевал в такт, топал красным башмачком.

Мимо него проносились, подпрыгивая, и перепуганный, потный прапорщик гвардии, с дворянскими мясами, натуго перетянутыми суконным сюртуком, и долговязый, презрительный остеец, с рыбьим взором, впалой грудью и в огромных ботфортах, и пьяный с утра, наглый государев денщик, и боярин древнего рода, не знающий хорошо, где он: в пьяном кружале, в аду, или только дурной это сон...

Струи дыма ползли в залу из низкой комнаты, где за длинными столами играли в шахматы, курили трубки, пили вино и хлопали друг друга по дюжим спинам птенцы Петровы.

И повсюду меж танцующими и пьяными похаживал с козлиною бородкой сухонький человек, одетый в дьяконский парчовый стихарь и с картонной золотой митрой на лысой голове — князь Шаховской, «человек ума немалого и читатель книг, но самый злой сосуд и пьяный», второй архидьякон всепьянейшего собора и царский шут.

Веселье было великое. Музыка, и взрывы смеха, и топот ног по вощеному полу. В залу вошел Петр. Он был головою выше всех. Коротким кивком отвечая на низкие поклоны, прямо прошел к столам, сел с краю и на парчовую скатерть положил стиснутые кулаки. Лицо его было бледно и презрительно, черные волосы прилипли ко лбу.

Косясь на царя, гости продолжали веселиться, чтобы не нажить беды. Один Шаховской смело подошел к нему со спины и, выпатив губу, проговорил гнусаво:

— Ну как, брат Пахом-Пихай, что пить-то будем? Вздрогнул Петр, оскалась обернулся и с кривой усмешкой сказал:

— Тройной перцовой, ваше святейшество.

Не шутка — варево адское была тройная перцовая. Человека валила в пятнадцать минут, будь он хоть каменный, и его святейшество сразу понял, что не для шутки потребовал Петр этого зелья, а со зла. И, поняв, немедленно определил и свое поведение: подобрал высоко стихарь, на затылок сдвинул митру и побежал по гостям, крича в лицо каждому:

— Слюни распустил, венгерское попиваешь? Сам за себя, противник-черт, боишься. Сыч, сыч, насупился, о чем думаешь, а я не знаю. А может, ты Хмельницким гнушаешься, в собор к нам ходить не хочешь, от питья морду воротить? А может, у тебя противные мысли?

И, отскочив, тыкал распухшим в суставах, старческим пальцем в побледневшее от таких намеков лицо придворного, и смеялся визгливо, и бежал к другим, приседая, кривляясь и нет-нет да закидывая глазок в сторону государя.

Перед царем поставили жбан, полный бурого зелья. Светлейший, с припухшим ртом, но улыбающийся сладко, надушенный, в кружевах, в шелковом парике, обсыпанном золотыми блеснами, наливал тройную перцовую в чарки изрядной вместимости и посылал гостям, спешившим, хоть притворно да поскорее, освинеть во хмелю на потеху государю.

Петр, щурясь сквозь табачный дым, загребал пальцами с блюда то, что ему подкладывали, громко жевал, суя в рот большие куски хлеба, и в промежутки глотал водку, с трудом насыщаясь и с большим еще трудом хмелея. Есть он мог много, — всегда, было бы что под рукой.

Гости ожидали, когда царь, откушав, начнет шутить, что бывало иной раз покрепче перцовой. Но красное, с толстыми, круглыми щеками лицо его не прояснялось. Он уже отсунул блюдо и, положив локти на стол, грыз янтарный чубук, — по-прежнему выпуклые глаза царя были точно стеклянные, невидящие. И страх стал одолевать гостей: уж не прискакал ли курьер из Варшавы с недобрыми вестями? Или в Москве опять беспокойно? Или кто-нибудь здесь из сидящих провинился?

Вынув изо рта чубук, Петр сплюнул под стол и проговорил, морщась от подперевшей отрыжки:

— Ну-ка, архидьякон, подь сюда.

Князь Шаховской, надувшись индюком, отставляя посох, приблизился.

— Во имя отца моего Бахуса и Венерки, шленды, девки греческой, вопиющий ко мне насытится, и зовущий меня упьется, — загнул он, закрывая голые, желтоватые глаза.

— Я с тобою не шучу, — перебил Петр, и внезапно вздулась жила у него поперек лба; остекленевшими глазами он оглядел гостей, чуть подольше задержавшись на столе, где сидели прусские офицеры. — Я тебя в шуты не нанимал, сам просился.

Он фыркнул носом и стал совать палец в трубку.

— Что-то чересчур стараешься! Перестарался, перестарался. Вот что! Боюсь, про нас с тобой говорить станут лишнее. Скажут, пожалуй, — царский шут...

Он не dokonчил, как часто бывало, свою мысль и стиснул зубы, скрипнул ими, сдерживая гримасу.

— Боюсь твоим стараньем, да, да... стараньем чрезмерным, как бы на меня твой колпак не надели бы, часом... С рогами...

Собираются... Знаю... Ведь говорят, говорят, слышал небось... Рогатый колпак небось пригожее мне, чем корона...

И опять повернул голову направо, налево, пронзительно всматриваясь. Его несвязные, пьяные слова, темный их смысл усугубили страх между гостями. Похоже было на то, что царь опять напал на какой-то заговор, и каждый испуганно оглянулся, отодвинулся от приятеля. Меньше других смутились светлейший, привыкший ко всячинке, да Шаховской. Его притворно пьяные, теперь умные, щелками, глаза напряженно следили за каждым из порывистых движений царя. Он понимал, какие тайные мысли жгли государя, и, внезапно пододвинувшись, сказал с растяжкой, по-мужицки:

— Брось, Пахом, вот осерчал из-за какой дряни. На, возьми, не жалко, — и с громким, слезливым вздохом снял с себя митру и подал царю.

Петр усмехнулся дико и вдруг с коротким, как кашель, хохотом надвинул на голову картонный колпак.

— Архидьякон, — закричал он, — князю земли кланяйся, поклонись, аминь.

Взял за бороду Шаховского у самого подбородка, нагнул три раза к себе, запрокинул его лицо, схватил со стола жбан с водкой и стал лить ее князю в разинутый рот.

Шаховской, булькая, пил. Оторвался, собачьими, страдающими глазами взглянул на государя и снова прильнул. Наконец коленки его начали дрожать часто, мелко, руки в широких рукавах поднялись, бессильно шевеля пальцами; тройная перцовая лилась мимо рта по стихарю.

— Будя, — прошептал он и зашатался. Видно было, что и царю сильно ударил хмель. Бросив Шаховского, он вышел в залу и крикнул музыкантам:

— Чаше, чаше! — подхватил боярыню какую-то, обнял ее спину, притиснул полную, голую грудь к осыпанному пеплом кафтану и принялся отбивать дробь тяжелыми ботфортами, кружиться и сигать по всей зале, увлекая и кружа едва поспевающую за ним, взмокшую боярыню — княгиню Троекурову.

Светлейший тем временем быстро пораскинул умом и, два раза, для совета, добежав до княгинюшки, приготовил все, что на потребу Купидону, и ждал только минутки. Когда Петр утомился, прислонясь к колонне и вытираясь рукавом, Меншиков подбежал на цыпочках и шепнул ему что-то. Слышали, как Петр воскликнул с пьяным весельем:

— Ну, ну, идем, — и, широко шагая и махая руками, проследовал впереди светлейшего во внутренние покои.

Светлейший, в одном камзоле, придерживая руку у горла и кланясь, провожал государя на крыльце, благодарил за милость.

— Иди, иди к гостям, без тебя уеду, — закашлявшись от ветра, проворчал Петр и обсунул на полушубке ременный пояс. Ночь была темная, секло косой изморозью. Перед крыльцом, над замерзшими колеями грязи, покачивались фонари в руках конюхов. Вдалеке, с фонарем же, проходили человек семь в тулупах — ночной караул, тускло поблескивая торчащими во все стороны алебардами.

Светлейшего пришлось силой втолкнуть в дверь, дабы приворотным своим ласканьем не надоедал чрезмерно; за окнами все еще играла музыка; свистел ветер в обглоданной сосне близ дома; роптала и билась о сваи ледяная, невидимая сейчас Нева; только желтели на ней и качались корабельные фонари; фыркали, смутно серея поблизости, выездные и верховые лошади; а Петр все еще стоял на крыльце, надвинув до бровей шапку.

Сытый, и пьяный, и утешенный всем человеческим, царь точно прислушивался, как из этой сытости снова, не вовремя, когда спать просто надо, поднимается жадная, лихая душа, неуспокоенная, голодная.

Никаким вином не оглушить ее, ни едой, ни весельем, ни бабьей сыростью. Ни покоя, ни отдыха. И не от этой ли бессонной тревоги зиму и лето скачет Петр в телегах и дилижанах, верхом и в рогожных кибитках, с Азова в Архангельск, с Демидовских чугунолитейных заводов под Выборг, в Берлин, на Олонецкие целебные воды? И строит, приказывает, судит, казнит, водит полки и видит: коротки дни, мало одной жизни...

— Лошадь! — сказал Петр.

Конюха с фонарями шарахнулись. Подъехала давешняя двуколка с рябым, скрюченным от холода солдатом... Петр грузно влез в сиденье. Застоявшийся вороной жеребец, сменивший давешнего старичка каракового, перебирая ногами, начал было приседать, подкидывать передом.

— Шалишь! — крикнул Петр, рванул вожжами и стегнул жеребца, махнувшего раза три в оглоблях и затем размашистой, легкой рысью понесшего валкую двуколку в темноту. На дороге испуганно посторонился ночной караул и далеко вдогонку крикнул: «Смирно». А потом солдатики шепотом рассказывали в шинке:

»Вот было страха ночью! Идем мы, значит, всемером, а он на вороной лошадищи как дунет мимо нас вихрем, лошадища огромная, а сам сидит как копна. Разве человеку мыслимо в таком виде ездить: уж больно велик, темен».

У Тайной канцелярии Петр бросил вожжи, скользя и спотыкаясь, подошел к воротам, цыкнул на караульных: «Глаза протри,

не видишь кто...» — и, перебежав дворик, сильно хлопнул наружной дверью.

Варлаама привели и оставили с глазу на глаз с государем. На углу стола плавал в плошке огонек. Шипели, с трудом разгораясь, дрова в очаге. Петр, в шубе и шапке, сидел глубоко в кресле, облокотясь о поручни, подперев обеими руками голову, словно вдруг и смертельно уставший. Варлаам, выставив бороду, глядел на царя.

— Кто тебе велел слова про меня говорить? — спросил Петр негромко, почти спокойно.

Варлаам вздохнул, переступил босыми ногами. Царь протянул ему раскрытую ладонь:

— На, возьми руку, пощупай, — человек, не дьявол. Варлаам пододвинулся, но ладони не коснулся.

— Рук не могу поднять, свернуты, — сказал он.

— Много вас, Варлаам? Скажи, пытать сейчас не стану, скажи так.

— Много.

Петр опять помолчал.

— Старинные книги читаете, двуперстным крестом спастись хотите? Что же в книгах у вас написано? Скажи.

Варлаам еще пододвинулся. Запекшийся рот его под спутанными усами раскрылся несколько раз, как у рыбы. Он смолчал. Петр повторил:

— Говори, что же ты.

И Варлаам, кашлянув, как перед чтением, и прикрыв воспаленными веками глаза, начал говорить о том, что в книге Кирилла сказано, что «во имя Симона Петра имеет быть гордый князь мира сего — антихрист», и что на генеральном дворе у спасителя не нарисована рука благословляющая, и у образа пресвятая богородицы младенца не написано, и что попам-де служить на пяти просфорах больше не велено, и что скорописные новые требники, где пропущено «и духа святого», те попы рвут и топчут ногами, и в мирянах великая смута и прелесть, и что у графа Головкина у сына красная щека, да у Федора Чемоданова, у сына ж его, пятно черное на щеке, и на том пятне волосы, и что такие люди, сказано, будут во время антихристово.

Петр, казалось, не слушал, подперев кулаками щеку. Когда Варлаам кончил и замолк, он повторил несколько раз в раздумье:

— Не пойму, не пойму. Лихая беда действительно. Эка — наплели... Тьма непролазная.

И долго глядел на разгоревшиеся поленья. Затем поднялся и стоял, огромный и добрый, перед Варлаамом, который вдруг зашептал, точно смеясь всем сморщенным, обтянутым лицом своим:

— Эх ты, батюшка мой...

Тогда царь стремительно нагнулся к нему, взял за уши и, словно поцеловать желая, обдал жарким табачным и винным дыханием, глубоко заглянул в глаза, проворчал что-то, отвернулся, глубоко надвинул шапку, кашлянул:

— Ну, Варлаам, видно мы не договорились до хорошего. Завтра мучить приду. Прощай.

— Прощай, батюшка!

Варлаам потянулся, как к родному, как к отцу обретенному, как к обреченному на еще большие муки брату своему, но Петр, уже не оборачиваясь, пошел к двери, почти заслонив ее всю широкой спиной.

За воротами, взявшись за скобку двуколки и на минуту замедлив садиться, он подумал, что день кончен — трудовой, трудный, хмельной. И бремя этого дня и всех дней прошедших и будущих свинцовой тягой легло на плечи ему, взявшему непосильную человеку тяжесть: одного за всех.

